

«Если ты хочешь говорить про жизнь, ты должен думать о смерти»

Яан Тоомик об искусстве и метафизике

[Анна Толстова](#) подписка подписка 21.02.2019

7



Фото: Собственность автора / предоставлено пресс-службой ММОМА

В ММСИ открылась первая в России музейная выставка знаменитого эстонского художника Яана Тоомика «В моем конце — мое начало. В моем начале — мой конец», сделанная Виктором Мизиано. Видео, короткометражные кинофильмы, документация перформансов, живопись, скульптурные инсталляции — полифоническая экспозиция выстроена на переключке голосов, где главная тема — метафизическая, тема судьбы и смерти, вечно подстерегающей жизнь за углом. Художник, захлебываясь, поет о чайках на дне бассейна, сливается в крике с

водопадом, ныряет в землю, словно в воду, танцует на могиле отца, пытаюсь поговорить с ним, и, обнаженный, кружит на коньках по льду Финского залива под пение собственного сына — эти работы давно сделались классикой мирового видеоискусства. Анна Толстова поговорила с Яном Тоомиком об учебе, протесте, преподавании, привязанности к земле и смерти

Как вы решили стать художником?

В начале девятого класса я увидел одну телепередачу и начал фанатично рисовать — натюрморты, пейзажи, портреты. До этого я хотел стать ветеринаром: очень любил животных, у меня была собака... У меня получалось хорошо рисовать и раньше, люди замечали это, и мать хотела, чтобы из меня вышел художник, но не настаивала, а деликатно подталкивала к этому — посоветовала собирать марки про искусство, давала книги... Я вырос в Хаапсалу, это маленький город, в нем даже не было кружка рисования. А в десятом классе к нам в школу пришел учителем бывший художник, довольно известный в Эстонии человек, интеллектуал, он показывал нам самиздатские книги по искусству, переведенные с английского, от него мы получили первую информацию о современном искусстве. Я несколько лет поступал в Таллинский художественный институт, еще до армии, но там был большой конкурс, и меня не взяли, да и после армии попал не с первого раза — на отделение живописи.



«В лесу», 2004

Фото: Собственность автора / предоставлено пресс-службой ММОМА

А какие преподаватели в художественном институте были для вас важны?

Не могу сказать, что кто-то сильно выделялся — просто сама атмосфера была уникальная.

Вы имеете в виду время перестройки?

Это началось еще до перестройки: я закончил институт за год до провозглашения независимости Эстонии.

Но движение за независимость, Поющая революция — все это на вас влияло?

Конечно, влияло. Мы получили доступ к информации — до того мы жили в большом информационном дерьме. Молодые художники начали экспериментировать — новые медиа... Большая волна пошла...

Для многих ваших сверстников в России было важно немецкое искусство, «новые дикие». А для вас?

Не только. Там было два направления: «новые дикие» из Германии и трансавангард из Италии. На меня даже больше влияло итальянское искусство.

А кто именно? Франческо Клементе? Энцо Кукки?

Кукки был любимый. Многие эстонцы после войны оказались в зарубежье, у нас тоже были родственники за границей — они присылали мне разные книги, и среди них был альбом про Кукки. Но и метафизическое направление, как вы, наверное, заметили, мне близко. Странным образом мне лучше всего работается с итальянскими и немецкими кураторами, я и Виктора Мизиано воспринимаю как наполовину итальянца.

От художника вашего поколения ждешь, что в конце 1980-х и начале 1990-х он будет делать политические работы. Но на вашей выставке их почти нет, разве что снимки инсталляции в самом центре Таллина с железными солдатскими кроватями из советских военчастей...

Нет, еще акция «Мой член чистый». После четвертого курса мы по студенческому обмену попали в Чехословакию — за несколько месяцев до Бархатной революции. И чехи относились к нам очень негативно...

Вас воспринимали как советских людей?

Да-да. Мы пытались им объяснить, что мы тоже пострадали от советской власти, что мы — оккупированная страна. Но они не хотели говорить по-русски и не понимали по-английски. Такая сложилась странная ситуация. И тогда мы с моим другом Ваном Аллсалу решили устроить немой протест, написали на плакате по-эстонски «Мой член чистый» и вышли в город. И хотя никто не понимал, что там написано, но сама атмосфера и сама форма работали на нас — было видно, что мы протестуем. Нас даже не могли арестовать: в то время в Чехословакии было не положено вот так ходить с плакатами, но

никто не понимал, что это. Это, может быть, моя единственная политическая акция. А работа с кроватями — не политическая, это более сакральная, что ли, вещь, мемориальная, оммаж советским солдатам.



«Неизвестный солдат», 2014

Фото: Собственность автора / предоставлено пресс-службой ММОМА

Ваш армейский опыт, очевидно, был очень травматичен?

Да, вы же видели на выставке фильм «Олег» — все так и было: это мой друг, еврей из Таллина, над ним очень издевались, он покончил с собой...

Эстонские художники казались здесь в России очень западными, несоветскими, но все же Таллинский институт при всем своем либерализме был частью советской академической системы. Как у вас произошел переход от живописи к акциям, перформансам, видео?

Это и было связано со всеми этими бурными событиями. Вы правы, наша система образования была чуть более западная, чуть более

свободная: наши учителя тоже хотели знать, что там происходит, на Западе, и не требовали от нас четкого исполнения правил. К концу учебы я уже чувствовал, что меня не трогает традиционное искусство и, пересиливая себя, делал дипломную работу, а параллельно занимался перформансом, акциями, ленд-артом, концептуальным искусством. Когда это все началось, в конце 1980-х, я стал делать очень экспериментальные картины и рисунки, пробовал новые материалы, а учителя уже были не очень уверены в оценках и не оценивали меня плохо, ставили четверки.

Кажется, что в отличие от России, где мы все же видим определенную границу между официальным и неофициальным искусством, в Эстонии и в советские, застойные годы не было какого-то четкого деления на официоз и андерграунд.

Такого контраста, может быть, не было, потому что эстонцы — маленький народ, и мы должны были как-то адаптироваться, мы же все знали, что Эстония — оккупированная страна, а искусство было в метафизическом плане способом жить в каком-то другом мире. Это в эстонском характере — мы больше прибегали к искусству, чем к каким-то акциям политического противостояния.

Если говорить о ваших экспериментах конца 1980-х, похоже, что между живописью и видео у вас есть то сходство, что в основе картины и фильма часто лежит жест.

Это спонтанная живопись — мне всегда нравилось спонтанное действие в живописи. Я не люблю дизайнерскую форму в картине — мне важно, чтобы все было живо, не доделано даже, потому что в недоделанности есть какая-то энергия, чтобы выжить. И хотя мои видео довольно аккуратно сделаны и точно скомпонованы, все равно важно это ощущение свободы.

Но при этом на выставке есть и короткометражные постановочные фильмы. Вы стремитесь уйти из видео в

большое кино?

Я уже сделал один большой фильм, крутой фильм — он был на фестивале в Роттердаме и на других фестивалях («Пейзаж со многими лунами», 2014.— **Weekend**). Я же работал в видео с начала 1990-х, был в первой волне видеоискусства, и именно как видеохудожник получил интернациональное признание. Но 10 лет назад я почувствовал, что форма видео мне как-то надоела, я устал от нее, надо идти вперед, и это был какой-то естественный шаг — к фильму. Мне такие технические вещи, как чистая форма, формализм в медиа, не важны — важна философия.



«Водопад», 2005

Фото: Собственность автора / предоставлено пресс-службой ММОМА

Из чего рождается фильм: из визуального образа или первичен сценарий?

Должен быть какой-то нарратив. Все собирается из воспоминаний и опытов, из подсознания приходят какие-то ощущения.

Образ в видео всегда коррелирует со звуком?

В большинстве случаев — да. Как говорят классики, если делаешь фильм, он состоит из образа и из звука, и звук — это примерно 40% фильма. На выставках это всегда сложно — сохранить общий организм произведения, и звук, и образ. Что-то теряется, когда много видео: они друг другу мешают.

Меня поразили зал с вашими документальными работами — с фильмами о художнике с болезнью Паркинсона, о сексуальных ритуалах уголовников, об этих странных женщинах. Как вы нашли таких героев?

Если художник очень замкнут, живет только в своей среде и своем мире, он должен быть все время начеку — внимательно следить, наблюдать, смотреть вокруг, вспоминать. Из жизни пришли эти люди — из разных ситуаций.

В ваших работах очень много маскулинного. За последние 20–30 лет в Эстонии поднялась мощная волна художниц-феминисток. Тяжело вам в этой женской среде?

Конечно (*смеется*). Я же образец мужского искусства — в этом смысле мне хорошо, я как контраст к такому феминному зомби-формализму. У нас в Эстонии сейчас женская власть: все институциональные люди — в большинстве своем женщины. Может быть, это не только в Эстонии такая тенденция.

Но я вообще не ощущаю себя чистокровным эстонским художником — таких, как я, не очень много в Эстонии. Может быть, я беру какую-то тематику или образы в Эстонии — природу, например. Но в умственном смысле я чувствую себя ближе к Италии или Америке. Эстония — просто место, где я работаю, и среда, конечно, влияет. Но я думаю, что я на самом деле не типичный эстонский художник.

Мне как раз кажется, что в ваших работах очень много Эстонии — особая эстонская связь с родной землей, крестьянское мироощущение. Как в фильме «Человек», где

**голый человек буквально привязан к голой земле —
веревкой за яйца.**

Это такое средневековое чувство — и рустикальное, и одновременно привязанность своей сексуальной нужды к земле, ты никуда не уйдешь от этого. Ну да, у эстонцев очень сильное чувство природы — сильнее, чем у других наций. И когда у меня депрессия, трудные моменты, прогулка на природе всегда помогает, дает какую-то энергию.

**А ваши автобиографические вещи, семейные истории — они
ведь тоже об Эстонии?**

Но эти семейные истории понятны также и в Италии, и в России. За рубежом их понимают, может быть, больше и лучше, чем в Эстонии.



«Отец и сын», 1998

Фото: Собственность автора / предоставлено пресс-службой ММОМА

**Кажется, ваша главная тема — смерть и память об умерших.
Это идет от биографии, вы ведь рано лишились отца, потом
брата?**

Это влияло, да. Меня всегда влекло к этому мистическому направлению. Там всегда стоит смерть в каком-то смысле — неуловимая субстанция. Если ты хочешь говорить про жизнь, ты должен думать о смерти.

Хотела расспросить вас о вашей преподавательской работе...

Я профессор Художественной академии Эстонии уже много лет. Я был первым, кто стал преподавать интердисциплинарное искусство — видео, перформанс, кино, экспериментальные вещи. С начала 2000-х — первым в Прибалтике и, может быть, во всем бывшем Советском Союзе. Сейчас я на отделении живописи, но на самом деле это уже современное искусство — я могу преподавать и видео, и концептуальное искусство. В наше время все хотят более современных медиа.

Вы чувствуете, что воспитали свою школу?

Я этого никогда не хотел делать намеренно — я этого даже избегал. Я же сам учился по дзен-буддистским правилам: у тебя не должно быть авторитетов. Как я могу делать свою школу, если сам думаю, что у свободного художника не должно быть никакого авторитета?

А чему вы учите студентов: скорее ремеслу или все же философии?

Можно и ремеслу, и контексту — дать объективную информацию. Важно проникнуть в суть каждого художника и посмотреть, что ей или ему нужно дать. Педагогическая работа связана с интуицией.

Преподавание не тяготит, не отнимает времени от творчества?

Конечно, отнимает. Это же сильная умственная, духовная работа, которая забирает энергию. Но иногда и отдает обратно. Есть и практические нужды — быть свободным художником тоже нелегко. Можно, но это не всегда уютно.

Яан Тоомик «В моем конце — мое начало. В моем начале — мой конец». Московский музей современного искусства на Гоголевском бульваре, до 24 марта